

Ольга Ивинская / Ирина Емельянова

«Свеча горела...»

Годы
с Борисом Пастернаком



Ольга Ивинская

**«Свеча горела...» Годы
с Борисом Пастернаком**

«Этерна»

2016

УДК 82-94
ББК 70-79

Ивинская О. В.

«Свеча горела...» Годы с Борисом Пастернаком /
О. В. Ивинская — «Этерна», 2016

ISBN 978-5-480-00236-2

«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской... Она и есть Лара из моего произведения, которое я именно в то время начал писать... Она — олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла... Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела...» Из переписки Б. Пастернака, 1958 ««Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость»,» — так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живаго». Такой он видел и Ольгу Ивинскую. Такова и эта книга». Дмитрий Быков

УДК 82-94

ББК 70-79

ISBN 978-5-480-00236-2

© Ивинская О. В., 2016

© Этерна, 2016

Содержание

«А может, я лишь почва для романа?». Об авторе этих воспоминаний	6
Ольга Ивинская. В плену времени	24
Пушкинская площадь	26
Так начинают жить стихом	33
Бог неприкаянный	35
«Жизнь моя, ангел мой...»	37
«И манит страсть к разрывам»	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ольга Ивинская, Ирина Емельянова «Свеча горела...»: Годы с Борисом Пастернаком

© О. В. Ивинская (наследники), 2016

© И. И. Емельянова, текст, фотографии, 2016

© ООО «Издательство «Этерна», оформление, 2016

* * *

*Как будто бы железом,
Обмокнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.*

*Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?*

Б. Пастернак

«А может, я лишь почва для романа?». Об авторе этих воспоминаний

В известной статье о Шопене, где Пастернак дает свое понимание реализма, он говорит о том, что «движущей силой художника, толкающей его на новаторство и оригинальность, является глубина биографического отпечатка. Всегда перед глазами души, – пишет он, – есть какая-то модель, к которой надо приблизиться, совершенствуясь и отбирая». Правда, для читателя едва ли важно, кто именно был этой моделью и чей «отпечаток» остался в книгах поэта. И «Марбург», и «Метель», и «Баллады» существуют и будут существовать без связи с далекими тенями их героинь. Однако по мере того как сама жизнь автора превращается в легенду, становятся мифами и они, его музы, и простое чувство благодарности заставляет нас вспомнить о них, расшифровать эти криптограммы, воздать должное его спутницам, прекрасным «эгериям» (то есть «вдохновительницам» по-гречески).

Каждый читатель рисует их себе, наверное, по-своему. Вот «Сестра моя – жизнь»... Для меня, например, героиня этой книги (Елена Александровна Виноград-Дороднова) дорога тем, что внесла в его поэзию дыхание города, открытого пространства, на которое он вырвался из узких улиц Марбурга, или «коробки с красным померанцем» в Лебяжьем переулке, пространства подставленной прямо небу земли, прежде всего – Москвы, с ее посадками, «куда ни одна нога не ступала»... Это их прогулки по ночной Москве, «Нескучный сад», «Воробьевы горы», московские вокзалы, Камышинская ветка... Как Атлантида, всплывает Город, когда наугад открываешь эту книгу.



Борис Пастернак с женой Евгенией Владимировной Лурье и сыном Женей, 1924. Фото И. Нанпельбаум

Евгения Владимировна Лурье, художница, вошла в его жизнь и стихи на волне живописи; ее тонкие, изящные рисунки говорят о том строе души, который тоже стал для поэта на какое-то время моделью, к ней он «приближался», и для нас, далеких читателей, остались навечным подарком и «Художница пачкала красками траву», и «Существованья ткань сквозная», и «Стихи мои, бегом, бегом»...

Зинаида Николаевна Нейгауз, героиня «Второго рождения», ворвалась в его жизнь вместе с музыкой: ее музыкальное окружение, ее собственное музицирование, концерты Г. Нейгауза – были бурным, страстным, порой трагическим фоном их вспыхнувшей любви. Недаром их обручение состоялось в консерватории на похоронах Ф. Blumenфельда («Упрек не успел потускнеть... скончался большой музыкант, твой идол и родич»). И хотя потом эти страсти сменились торжеством Дома, Очага, Уюта, для нас, читателей, именно с З. Н. Нейгауз навеки связана и «Шопена траурная фраза», и «ослепляющая попытка», которой она «расправляла крылья», «касясь до клавиш».

По вполне понятным причинам я лично никогда не знала Зинаиду Николаевну. Но в моем воображении она всегда представляла такой Софьей Андреевной, которой, после прочтения ее дневников, я страстно сочувствовала, женщиной, принесшей и свой темперамент, и талант в жертву мужу, дому. Ведь и посещение больных баб в Ясной Поляне, и компрессы маленьким детям, и муравьиное переписывание текстов великого мужа чередовались с балладами Шопена, с Моцартом, с игрой с Левочкой в четыре руки. Она тоже была отличная музыкантша, как часто в ее дневнике встречаешь: «Чтобы успокоиться, играла сутра 3 часа...»



Борис Пастернак с женой Зинаидой Николаевной Нейгауз и сыном Леной. Переделкино, 1946

Как знаменательно и неслучайно то, что появление новой «эгерии» и, следовательно, новой книги сопровождалось крахом старого и рождением нового духовного опыта, обрушивающимся огромным пластом несбывшихся надежд, тем, что называется творческим и личным кризисом.

Надо ли говорить, каким обвалом было лето 1917 года, которым помечена «Сестра моя – жизнь», когда выход в пространство города сопровождался митингом площадей и деревьев, и «Книга степи» читается как Книга Бытия.

Или мучительный кризис 1930-х годов, когда чаемая новая жизнь обернулась идеологическим удушьем, пошлой и подлой грызней в РАППе, раскатами очевидно приближающегося террора. Кульминацией этого кризиса было для Пастернака самоубийство Маяковского, и последняя часть «Охранной грамоты» написана им уже о себе самом. «Значит, это не рождение? Значит, это смерть?» И в многочисленных письмах этого года – родителям, сестре, друзьям – он пишет о своей смерти, о конце, «либо полном физическом, либо частичном и естественном, либо же, наконец, невольном-условном» (письмо сестре Лидии 1930 года).

Но не исчерпан был еще световой ливень, дарованный ему природой, и новая попытка «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», сформулированная в знаменитых «Стансах», на какое-то время удалась. Удалась благодаря З. Н. Нейгауз и той стихии жизни в ее повседневном, земном обаянии, которое она воплощала. Ожидаемая смерть обернулась «Вторым рождением», «Волнами», началом романа «Доктор Живаго», тем, что принято называть творческим подъемом.

Разумеется, этот подъем не мог быть продолжителен. Поразительно, что он вообще был. Когда погружаешься во все эти «дискуссии о формализме», стенограммы верноподданнических съездов и постановлений с их ужасающим маразмом, читаешь «осаживания» в прессе бывших друзей, – полное крови и жизни слово Пастернака кажется чудом. Ведь образовалось абсолютно бескислородное пространство, в котором, как ни страшно, только война явилась очистительным глотком свежего воздуха. Но война кончилась, и кончились появившиеся благодаря ей иллюзии. В записках 1956 года, сохранившихся в нашем архиве, есть такие слова:

«Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз».

Его полная экстерриториальность в советском обществе, невозможность печататься и общаться с читателями, предчувствие наступающего опять террора – все это вело к новой смерти, к новому кризису, и нужна была вспышка нового чувства, тот самый «резкий и счастливый» (его слова) личный отпечаток, о необходимости которого говорил он в своей статье о Шопене. Таким отпечатком, вернее «нарезом по сердцу», явилась встреча с Ольгой Всеволодовной Ивинской в 1946 году в редакции «Нового мира». Мама часто рассказывала (а поскольку это была первая встреча, все немногие слова запомнились текстуально), каким был их первый разговор. Секретарь редакции, немолодая литературная дама, подвела к вошедшему в комнату (узнать о судьбе своего романа «Мальчики и девочки», будущего «Доктора Живаго») смущавшуюся молодую женщину и сказала: «Борис Леонидович, я хочу познакомить вас с одной из ваших горячих поклонниц!»

На что Б.Л. отозвался по-светски любезно, но и с несомненной горечью: «Как странно, что у меня еще остались поклонницы!»

Это не было пустым светским отшучиванием. Конец сороковых годов действительно становился духовным вакуумом. О каких поклонницах можно было говорить после ждановского постановления о Зощенко и Ахматовой? Начинался новый виток идеологических репрессий, и к Пастернаку было приковано внимание партийных верхов, от него требовалось покаяние. Ивинская стала для него не просто любовным увлечением, но и драгоценным читателем, благодарным откликом, человеком, для которого главным в жизни была поэзия. Это во многом черта ее поколения. Будучи моложе своих предшественниц, она не присутствовала при создании любимых текстов, она получила их уже в книгах, она ими бредила, писала в ответ свои, в школьной тетрадке: «Облака пастернаковской прозы / Как урок у меня на столе».

Ни живопись, ни музыка – той волной, что ее прибила к нему, были стихи. Живописи она не понимала, в музеи не ходила, музыка тоже не культивировалась у нас в доме. Помню, она рассказывала, как старалась разделить переживания Б.Л. на каком-то концерте в консерватории, но тщетно, он все понял и прислал ей записочку: «Не кажется ли Вам, что наше сидение здесь – нелепость?» И они ушли.

* * *

Наш дом был полон стихами. Читали все – ее приятели-поэты, засиживающиеся за полночь за чаем, дед – школьный учитель, молившийся на Некрасова, мы с братом, маленькие, поставленные на стул, для гостей: «Печальный Демон, дух изгнания...» Стихи были и комментарием к жизни, и содержанием ее. Тогдашняя жизнь, полунищая, порой путаная, всегда «на волоске», искала свой прообраз, почву, опору. «Виртуальная реальность», как сказали бы теперь, торжествовала.

Под новый, 1947 год под маленькой елкой, среди апельсинов и солдатиков мы с братом нашли и подарок от мамы. Это был однотомник Лермонтова, довольно некрасивый серый фолиант, да и бумага желтая, сухая. А на первой странице, косым карандашом, ее надпись: «Ребята! Ира и Митя! Любите стихи! Это – самое лучшее». Таково было ее завещание (ее вскоре арестовали), ее образок нам на шею.

Ее поколение как бы предчувствовало, что язык скоро и надолго останется единственной связью с живой жизнью, и, как губка в присосках, впитывало, вбирало в себя то, что не отнимется ни при каком обыске, – поэтическое слово. Помните Евгению Гинзбург, на пере-

сылке в бане читающую «Онегина»? Или Шаламова, выламывающего кайлом камень, чтобы раздробить себе ногу, под строки Мандельштама («Дождь»)? О слове-спасителе написано уже так много, но не исчерпать нашей к нему благодарности. Поэт уже другого поколения, Вадим Козовой написал: «Спасибо за чужое слово. Без него я бы пропал навек. Поэтическая королева, спасибо за твои сосцы».

Мама была такой «губкой в присосках» – сколько она знала стихов наизусть! Она прекрасно читала – в немного старомодной мелодраматической манере, но восторг перед чудом слова звенел в ее голосе и захватывал. «Скажи мне, кудесник, любимец богов...» – и это мог написать человек? Это дыхание, эти крылья, медленно поднимающиеся в воздух? «Волхвы не боятся могучих владык...» Дух захватывало.

У этого поколения было много кумиров. Может быть, слишком много. Те, чья молодость пришлась на тридцатые годы, в своих походных сумках носили не только классику. Там были и Тихонов, Сельвинский, Пастернак, и Уткин, и Багрицкий, и Тарковский, и Смеляков, и Симон...

Но для меня эта всеядность – отнюдь не недостаток. У них была открытость неофитов, энтузиазм первопроходцев, никакой «закрытости ордена» – наоборот, готовность принять новый талант, расхвалить, обласкать. И что запомнилось – никогда не высмеивалась неудачная строка, наоборот, повторялась, смаковалась эффектная фраза. Ведь и у маленьких поэтов есть крупные удачи!

Стихи пронизывали «ткань существования», и впрямь нельзя было понять, где напроорочили стихи, а где жизнь собирает материал для будущих поэм. Как точно сказано об этом у Пастернака: «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг...»

Надо признать, что в мамином поэтическом пантеоне все-таки существовала иерархия. Королем этой державы, как почти у всего ее поколения, был Блок. Блок был наваждением, страстью, она рассказывала, что видела сны, в которых Блок указывал ей, какую страницу открыть, какую строку прочесть. Она говорила мне, что разминулась с ним в жизни. Уже перед смертью просила погадать на томе Блока, и вышло:

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет, –
Всего лишь продолженье бала,
Из света в сумрак переход.

Летом 1956 года Б.Л., приходя в маленькую комнату, которую мама снимала недалеко от Переделкина, часто натыкался на лежащий у ее изголовья алконостовский том. Может, из этого общего их восхищения и родились в этот год его «Четыре отрывка о Блоке»?

Блок, Анненский, Ахматова, Пастернак...

Когда весной 1953 года после своего первого заключения мама вернулась из мордовского лагеря в Москву, она привезла мне из Потьмы еще один подарок. Это была школьная затрепанная тетрадка, куда она по памяти, полупечатными буквами, переписала любимые стихи Ахматовой. Настоящей книжки Ахматовой у нас в доме не было – «Белая стая» с дарственной надписью «Дорогой О. В.» была конфискована во время ее ареста и сожжена как вещественное доказательство «антисоветских настроений». К 65-летию Ахматовой мы с мамой послали ей в Ленинград телеграмму: «Ваше рождение – наш общий и вечный праздник». Как больно, что Анна Андреевна разделила мнение завистников и недоброжелателей о бедной О.В. и, по словам Л. Чуковской, сурово ее осудила!

И вот Пастернак, живое божество. Помню рассказы о вечерах поэзии, где она, студентка литкурсов, ловила каждое слово гения, приткнувшись на ступеньках Политехнического (зал всегда был переполнен), писала робкие записки, поджидала на лестнице... А после войны –

личная встреча, перевернувшая жизнь, о которой она столько раз говорила его же словами: «О куда мне бежать от шагов моего божества!»

Б. Л. Пастернак стал ее возлюбленным, но при этом он всегда, и прежде всего, оставался любимым, боготворимым поэтом («Разбудите меня ночью... С любого места, любое стихотворение!»). Он стал центром и ее женской, и духовной жизни. На все ложились его стихи. Даже о мелочах говорилось его словами («Мы вспомним закупку припасов и круп», «Скажи, тут верно год полов не мыли?»). А уж если вспоминать роковые минуты жизни, а на них судьба была щедра, все они «шли» под его стихи. Во время суда в ожидании приговора мама поворачивается ко мне: «Ирка! Недра шахт вдоль нерчинского тракта! Каторга! Какая благодать!»

Промытарив ее по всем возможным колеям, жизнь в конце концов явила и высшую свою справедливость. Созданная самой природой, чтобы быть «строчкой из цикла», музой, эгерией, – красивая, влюбленная в стихи, с растрепанной золотой косой, открытая и людям и судьбе – она ею и стала. Мало какой женщине можно подвести такой итог:

Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга.
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.

* * *

О. В. Ивинская стала адресатом поздней лирики Пастернака. «Разлука», «Свидание», «Осень», «Август», «Сказка», «Недотрога» – многие стихи позднего Пастернака навеяны этой любовью.

Это – последняя любовь, со всеми красками осеннего, предзакатного чувства. В них и сознание близкой смерти, и неизбежности разлуки, сознание обреченности, «незаконности» этой любви. На этот раз муза – «девочка из другого круга», она вне устоявшегося уклада семейных и официальных отношений. Отсюда такая щемящая грусть этой лирики: «Простимся, бездне унижений бросающая вызов женщина! Я – поле твоего сражения!» «Одна, среди снегопада» («Свидание») стоит она на углу, и встречается герой с ней лишь, когда «разъедутся домашние».

1946 год – год их встречи. В этом году написано стихотворение «Свеча горела» – ставшее песней, мифом, может быть, самым знаменитым текстом о любви в русской поэзии XX века. В нем – трепетность и обреченность, утаенность любовного пламени среди метели жестокого мира.

«Свеча горела» – одно из первоначальных названий романа «Доктор Живаго», который Пастернак начал писать задолго до встречи с О. В. Заканчивал он его в 1956 году, когда их отношения, пройдя чреду тяжелейших испытаний, стали прочной и душевной, и жизненной связью. И Лара, героиня романа, во многом становится похожа на маму. Не говоря уже о внешности героини, ее судьба (особенно конец) в чем-то повторяет судьбу О.В.

Конечно, такие сопоставления очень приблизительны. Человек чрезвычайно естественный, мама сторонилась такого примитивного отождествления, всегда морщилась: «Господи, ну что они – Лара, Лара (с ударением на последнем слоге, как говорили иностранцы). И Пастернака-то не читали, одна Лара от всего осталась».

Каждому хоть немного знакомому с психологией творчества понятно, сколько разных впечатлений впитывает поэтическая губка, сколько надо «перетолочь Сонь и Тань», чтобы получилась Наташа Ростова, и сколько женских встреч отразилось в образе Ларисы Гишар из романа. Здесь и царственно что-то всегда стирающая, глядящая сестра Антипова (З. Н. Ней-

гауз), даже свои коромысла несущая, как королева, и более ранние впечатления поэта, и, наконец, «девочка из другого круга», жалостливая, бесшабашная, нерасчетливая и беззащитная. Но для меня ясно одно. Не будь ее трагической судьбы, не будь этой любви последних лет, роман остался бы «картинами полувекового обихода», подернутыми патиной старомодности, с женской историей а-ля Мопассан, несмотря на пронзительную красоту языка, разбросанные повсюду «цукатины» (слова Б.Л.) – глубокие и тонкие суждения о времени, христианстве, искусстве, истории. То есть весь роман был бы как его первая часть. И только живая страсть, одухотворенная состраданием, чувством вины и жалости, то есть то, что все это: и любовь, и тюрьма, и верность, и даже мертвый ребенок – было в жизни и вдохнуло во вторую часть романа пастернаковскую неповторимую достоверность – патина сорвана, окно распахнуто, мы дышим и задыхаемся, как умирающий на трамвайной остановке доктор; герои романа стали нашими современниками и останутся таковыми для читателей будущего. «Тайная струя страданья» согрела эти страницы, и они ожили.

* * *

Ольга Всеволодовна Ивинская родилась в 1912 году в Тамбове. Матери ее Марии Николаевне Демченко, красавице, приехавшей в Москву с Украины учиться на курсы Герье, было в ту пору 22 года. Отец – Ивинский Всеволод Федорович, родом из Тамбова, в ту пору студент «естественного» факультета Московского университета. Семья в Тамбове была известная и богатая. Четыре брата и мать, по происхождению ревельская немка, Амалия Карловна, ставшая в России Амалией Ивановной. Тамбовское детство было коротким, брак с Всеволодом – непродолжителен. В Гражданскую войну след его затерялся.



Мария Николаевна Демченко-Ивинская. Тамбов, 1910

В двадцатые годы семья (бабушка вновь вышла замуж) жила в Серебряном Бору, в Покровском-Стрешневе. Был небольшой дом, бабушка даже держала козу, прослав – за свою красоту – местной Эсмеральдой. Ее новый муж, Дмитрий Иванович Костко, наш впоследствии горячо любимый дед, работал на железнодорожном узле Курской железной дороги. Он был сыном священника, скрывал свое происхождение, чтобы иметь возможность преподавать, но при каждой «чистке кадров» из школы его изгоняли. А как любили его ученики!

Мама училась в средней школе в Серебряном Бору, куда ходили через лес; рано возникшая страстная любовь к литературе (да и дед по профессии – «учитель словесности»), школьные кружки, влюбленности, дружбы, летние посиделки в саду...

На филологический факультет ее не приняли из-за происхождения (из «служащих», а надо из «рабочих»), но приняли на биологический, где она проучилась год. Затем перевелась на высшие литературные курсы, ставшие впоследствии РИИИном – редакционно-издательским институтом, влившимся потом в МГУ, который она и закончила.



Всеволод Федорович Ивинский, тамбовский дворянин, студент – «естественник» Московского университета



Ольга с матерью. Тамбов, 1915

В этом же году – 1930-м – произошел переезд в Москву в Потаповский переулок (б. Большой Успенский). Там построили первые советские кооперативы: переехали в маленькую трехкомнатную квартирку, и эта квартира скоро стала легендарным местом, где собирались поэты-соученики, где родились дети, где были и аресты, и обыски, и самоубийства, куда через много лет приезжали освобождающиеся из лагерей друзья, куда приходили и Б. Л. Пастернак, и А. С. Эфрон, и В. Т. Шаламов, и многие, многие, чьи имена составляли культурный воздух эпохи.

В Потаповском переулке собиралась студенческая компания, как вспоминала бабушка, «ночи напролет завывавшая стихи». Пастернак был божеством, кумиром этого поколения. Среди книг, которые я подарила моему дорогому дому-музею Марины Цветаевой, есть одно-томник Пастернака, буквально зачитанный до дыр, до желтых пятен, замусоленный, – «Стихотворения в одном томе», издание 1933 года; видимо, мама с ним спала, обедала, ездила в трамвае. Загнутые углы страниц, трогательные восклицательные знаки на полях, смешные пометки типа: «Только ты так можешь!», «Кто может еще так сказать?» и прочее... Вот такие были читатели. Причем на «ты», как к Богу.

После окончания института О. Ивинская проходила литературную практику в редакциях разных журналов. Сначала в некоем «ЗОТе» («За овладение техникой»), где знакомится с В. Шаламовым. Пишет очерки: «За вкусный обед», «Рождение косолапого мишки», «Молоч-

ная жила» и другие. Шаламов читает ей свои стихи и прозу, ценит ее мнение, даже берет к какому-то своему стихотворению эпиграф из ее поэмы: «Он по-новому сердце предскажет». От этого журнала ее посылают в командировку в Джаркент (строится Турксиб), она пишет очерки о строителях.

В предвоенные годы она два раза выходит замуж, оба брака трагически обрываются. Их нельзя назвать удачными – это был классический «мезальянс». Первый муж – И. В. Емельянов, мой отец, из крестьянской семьи из-под Ачинска, в 1939 году кончает жизнь самоубийством. Можно только догадываться (он не оставил дневников), что к самоубийству Емельянова привела не только личная драма (мама хотела уйти от него и забрать ребенка), но и разлад со временем, который ему, коммунисту-идеалисту, видимо, дорого стоил. Второй – А. П. Виноградов, отец брата – из деревни Светлые Ключи Владимирской области, работал главным редактором журнала «Самолет», где мама с ним и познакомилась. Он внезапно умирает в самом начале войны, оставив ее с двумя маленькими детьми на руках.



Д. И. Костко, второй муж Марии Николаевны



Потаповский переулок. Легендарный дом 9/11

Бабушка в это время находится в лагере – арестована в начале 1941 года за анекдот о Сталине (в компании рассказала анекдот: «-Как вы относитесь к советской власти? – Как к своей жене – немного люблю, немного боюсь, немного хочу другую»). Дед, в очередной раз выгнанный из школы, сапожничает в крохотной кухне – как мы выжили? Выкапывали забытую картошку на огородах, меняли полотенца на муку, мама была донором – сдавала кровь и кормила противотифозных вшей – для сыворотки.

Вот фотография 1943 года, дед – инструктор «сапожного дела», измученная женщина (а ей всего 30 лет!) – донор, иначе было не выжить. На обороте этой чудом сохранившейся фотографии надпись: «Дорогой бабушке, маме, жене от любящих ее детей и мужа». Фотография была послана бабушке в лагерь, в Сухобезводное, где она тогда находилась.



Д. И. Костко, Ольга Ивинская с дочерью Ириной, 1943



Иван Васильевич Емельянов, первый муж Ольги. В начале 1930-х годов – директор школы рабочей молодежи



Александр Петрович Виноградов, второй муж Ольги. Конец 1930-х годов

После этих страшных лет жизнь постепенно входит в нормальную колею. Ивинская поступает работать в журнал «Новый мир» в отдел работы с начинающими авторами. В редакции этого журнала она встречается с Пастернаком, начинается их роман, любовь, продолжающаяся до самой смерти поэта в 1960 году.

Осенью 1949 года ее первый раз арестовывают по статье 58-ю («Антисоветская агитация и пропаганда»), приговаривают к пяти годам лагерей.

Читаем в ее книге: «Когда в восемь вечера оборвалась моя жизнь – в комнату вошли чужие люди, чтобы меня увести, – в машинке осталось неоконченное стихотворение:

...Играй во всю клавиатуру боли,
И совесть пусть тебя не укорит,
За то, что я, совсем не зная роли,
Играю всех Джульетт и Маргарит...

За то, что я не помню даже лица
Прошедших до тебя. С рожденья – все твое.
А ты мне дважды отворял темницу
И все ж меня не вывел из нее.

Москва 6.X.49»

Стихи мама писала всю жизнь. Писала – как дышала. Но никогда их не собирала, не хотела издавать, писала сразу, набело, не откладывая для доработки, не берегла, теряла... Они – как рука, протянутая за помощью к тем, кто не изменит. В них жизнь и поэзия не мыслят себя врозь.

Тоненькую папку с делом Ольги Ивинской я прочла в 1992 году. Припомнили и отца-белогвардейца, и мать, арестованную за «антисоветскую агитацию и пропаганду», но главной

целью ее ареста (что бы ни говорили недоброжелатели) было, конечно, собрать досье на Пастернака, все допросы вертелись вокруг него, его «изменнических настроений».

Когда 6 октября 1949 года ее увезли на Лубянку, решалась и наша судьба, двух маленьких детей, официально оставшихся сиротами. Мы знали, что таких малышей забирали в детский дом. Как сумела бабушка отстоять нас в эту ночь? Ведь после маминого ареста мы остались на руках стариков. Но Б. Л. не оставил нас. Скольких он спасал, как каторжный трудящийся над переводами, добывая деньги, сам вися на волоске в те страшные годы, сколько людей обязаны ему просто жизнью! А его письмо 1952 года, написанное сразу после инфаркта, в коридоре Боткинской больницы, неровным почерком, с указанием, где и как достать для нас немного денег, до конца жизни останется для меня примером христианского подвига в век «изрытых оспой Калигул».



Ольга Ивинская в юности

Судьба героини романа «Доктор Живаго» во многом повторяет судьбу мамы. Ее, как все помнят, в один прекрасный день арестовывают прямо на улице, она гибнет в лагерях.

По счастью, это пророчество сбылось не полностью, мама вернулась, освободившись в 1953 году по амнистии, близость с Пастернаком продолжалась до его смерти, еще семь лет, бурных, трудных, но счастливых.

Б.Л. сам руководит ее возвращением в литературную жизнь – он приводит ее в Гослитиздат, в редакцию литературы народов СССР, который возглавляет его верная почитательница А. Рябинина. Она охотно дает маме работу: «Эшелоны непереуведенной поэзии братских республик» – ее слова. Мама начинает активнейшую переводческую деятельность. Б.Л. дает ей первые уроки стихотворного перевода и скоро, восхищенный талантом ученицы, пускает в самостоятельное плавание. Мама работает как муравей; день и ночь стучит на машинке, переводы удаются, поступают новые заказы, завязываются контакты с авторами. Сколько она успела сделать за короткие семь лет междулагерной передышки, своей свободы! Одна библиография ее переводов занимает двадцать страниц убористого шрифта.

В августе 1960 года, через два месяца после смерти Б.Л., ее арестовывают второй раз, приговаривают к восьми годам лагерей. Она снова в Мордовии, позади – смерть любимого человека, разоренный дом (конфискация имущества по приговору суда), впереди – восемь лет за колючей проволокой, суровых зим, тяжелого физического труда под конвоем, старость... Вот одно из самых пронзительных стихотворений Ольги Ивинской этого тяжелейшего для нее периода. У нее тоже есть своя «Метель»...



Борис Пастернак с Ольгой Ивинской и Ириной. Переделкино, 1958

Метель

*Мело, мело по всей земле,
Во все пределы...*

Б. Пастернак

Я люблю, когда в мире метель
И ко мне ты приходишь с погоста,
Словно это обычно и просто.
Неживым притворяться тебе ль?

Я люблю, когда в мире метель,
И я вижу твой профиль орлиный,
Молодые глаза и седины.
Теплых губ твоих чувствую хмель.

Я люблю, когда в мире метель,
В белой мгле не отыщешь дорогу,
Словно это усталому богу
На земле расстелили постель.

Я люблю, когда в мире метель,
Когда спутаны в небе созвездья,
Нет тропок, машины не ездят,
Только с неба ползет канитель...

Я люблю, когда в мире метель,
Когда хлопья валяются без толку,
Словно кто-то вверху втихомолку
Украшает огромную ель.

Я люблю, когда в мире метель,
Как любил ты рождественский гомон
И уют деревенского дома,
Где несло через каждую щель.

Я люблю, когда в мире метель,
Светят свечи сквозь белые нити,
Когда спутаны в жизни события
Дальних лет и ближайших недель.

Я люблю, когда в мире метель,
И с тобою мы так же, как прежде,
Поддаемся неверной надежде
Кораблей, обреченных на мель.

Я люблю, когда в мире метель,
Что ты сделал вселенской забавой,
Все заслоны крамольною славой,
Словно ветром, сорвавши с петель.

Я люблю, когда в мире метель...
Мы с тобой тогда ходим по пруду,
И в снегах, навалившихся грудой,
Неживым притворяться – тебе ль?

Когда нас с ней, арестованных уже после смерти Б.Л., долго мытарили по разным пересылкам необъятной родины, из Москвы в Тайшет (Сибирь), оттуда через Казань – в Мордовию, кажется, это был 14-й лагпункт, еще не наша конечная цель, но уже близко. Мы стоим с мешками, в бушлатах, в платках, около вахты, «принимает этап» начальник «подразделения» Юрков, красивый полнолицый мордвин. Он открывает наши «дела» – имя, инициалы полностью... И вдруг оживает: «Ого, Ивинская пожаловала! Не понравилось на воле? Обратно захотела?» Мама оцепенела. Оказывается, в 1953 году она освобождалась именно из этой зоны, и освобождал ее этот Юрков. И она как-то медленно, чуть ли не по слогам, произнесла: «Господи! Я целую жизнь прожила, а вы всё здесь...»

В 1964 году под давлением мировой общественности Ивинская освобождена из лагеря. Она живет в Москве, пишет книгу воспоминаний о Пастернаке «В плену времени», которая выходит сначала на Западе и только после перестройки – в России. Она дожила до перестройки, до краха коммунизма. Человек до конца своих дней живой, полный юмора, обаяния, поэзии, она привлекала к себе многих – среди ее друзей были и артисты, и поэты, и художники. Рассказы ее были всегда полны смешных деталей, даже о страшном она говорила всегда без злобы. Как жаль, что это все не записывалось, как и основная масса ее стихов.

Умерла 8 сентября 1995 года в Москве, похоронена на переделкинском кладбище, в двух поворотах дорожки от могилы Пастернака под тремя (ныне, увы, уже двумя) соснами.

И это уже встреча нездешняя, она там, где можно наконец спросить:

Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?

Ирина Емельянова
1998-2015

Ольга Ивинская. В плену времени



Пройдут времена, много великих времен. Меня тогда уже не будет. Не произойдет возврат ко времени отцов и дедов, что, впрочем, не является ни необходимым, ни желательным. Но наконец снова объявится так долго таившееся благородное, творческое и великое. То будет время итогов. Жизнь ваша будет как никогда богата и плодотворна.

Вспомните тогда обо мне.

Борис Пастернак

(Перевод с немецкого; факсимиле оригинала воспроизведено в книге Герда Руге «Пастернак», Мюнхен, 1958, с. 125)

В 1972-1976 годах я написала книгу, которую вы прочтете. Ее название – перефразированная строка пастернаковского стихотворения:... *у времени в плену*. Он знал, что когда минется время, его поэзия останется, и из плена времени она прозвучит в грядущем, как звучат в наши дни строфы Пушкина...

Я любила Б.Л., и не могу обманываться в том, что была ему необходима, и благодарна судьбе за мое место рядом с ним в его плену Времени.

Ольга Ивинская

1976-1992

Пушкинская площадь

В октябре сорок шестого года редакция «Нового мира» переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа «Известий». Когда-то в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.

Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич, чугунный, еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра «Россия». Этого стеклянного дворца еще не было совсем.

Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж за окнами (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы в Путинках, вылезавшую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов – мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое «С тобой и без тебя», – красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.

Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же – завыв – пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подруга, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы еще по старому зданию. Жизнь шла, даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой, тонколицей и белокурой мальчик – Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и, как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж – психиатр Рогинский – спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: «Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника». С ней мы делились и сердечными секретами.

Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил причесанный на косопробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он изменился после своих лагерей. Сюда вошел после газетной шумихи, в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный, с темными подглазниками Зоценко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы не сразу доложили о его приходе! Оказалось, впрочем, что эта «смелость» была санкционирована свыше.

Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.

– Боже мой, – загудел Борис Леонидович, – этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зоценко. – Все вдруг потупились, будто не слышали его слов. <...>

О стихах говорили целый день – то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Много еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Придя в журнал, Симонов мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.

В самом начале симоновского «правления» секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты дивные черные глаза и длинную шею (за которую мы невежливо прозвали ее змеищей), сделала мне подарок – билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела с довоенных лет. За полночь, помню, вернувшись, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь: «Я сейчас с Богом разговаривала, оставь меня!»

Она махнула рукой и пошла спать. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной.

В первый раз, пожалуй, я видела Пастернака близко.

Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он разговаривал с залом как с личным своим собеседником и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.

До встречи в редакции «Нового мира» я видела Пастернака считаное число раз. Интересно, когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале «Смена», были приглашены приехавшим в Москву грузинским писателем Константином Гамсахурдией в его номер в «Метрополе», я сбежала оттуда, услышав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала как девчонка, а со мной заодно Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Проводив меня до дому, те, конечно, вернулись в «Метрополь».

* * *

«...» Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком «Избранном». Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами.

Вообще, нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова, вошел в редакцию «Нового мира».



Первая подаренная фотография



Борис Пастернак, 1942. Чистополь, эвакуация. Фото В. Авдеева

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упряма, мужчины, вождя. Сразу можно поверить – если целовал, то «губ своих медью». Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, а вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.

Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.

В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии, на свою позднюю

наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю жизнь безобразии.

Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим новым зубным протезом – вроде всегда так было – и, может, чуть позировав перед собою и мной, он не один раз повторял: «Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!»

А сам между тем не верил, что поздно!

Но тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной, четкой скульптурностью – причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами под летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.

А я стояла у окна – мы с Наташей собирались идти обедать.

Зинаида Николаевна, кокетливо выгибая руку для поцелуя, сказала:

– Я, Борис Леонидович, сейчас познакомлю вас с одной из горячих ваших поклонниц, – и что-то еще в этом духе.

И вот он возле моего столика у окна – тот самый щедрый человек на свете, кому было дано право говорить от имени облаков, звезд и ветра, нашедший такие вечные слова о мужской страсти и женской слабости.

Пошел колкий и мелкий октябрьский снег. Я куталась в свою довоенную беличью шубу. В комнате было холодно.

Б.Л. наклонился над моей рукой и спросил, какие его книги у меня есть. А у меня был только один большой сборник, на котором рукой литературного критика еще «щербинских» времен Бориса Соловьева было написано: «Люсе от Бориса, но не любимого, не автора этой книги...»

И я ответила Борису Леонидовичу, что у меня есть лишь одна книга.

Он удивился:

– Ну я вам достану, хотя книги почти все розданы! Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побродить по старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать.



В квартире в Лаврушинском переулке, 1948. Фото Л. Горнунга

И, помню, слегка смущенно добавил:

– Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы.

Предвиденье, безусловно, существует, и не просто обещанием каких-то больших перемен – я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога.

Это был такой требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо.



Ольга Ивинская, конец 1940-х годов

Вернулась я домой в страшном смятении.

А дома были мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца – Ивана Васильевича Емельянова, смерть моего второго мужа – Александра Петровича Виноградова – на моих руках в больнице.

Было уже мамино неожиданное трехлетнее тюремное заключение (что-то кому-то сказала о Сталине). Было много увлечений и разочарований.

И все это теперь, вероятно, было нужно для того, чтобы ясней осознать единственно важное и непреложное на свете: вот пришел живым и реальным волшебник из далеких шестнадцати лет.

Так начинают жить стихом

В мои юные годы Пастернаком влюбленно увлекались мои сокурсники и современники. И первого Пастернака принес мне в дом Николай Холмин, моя первая студенческая любовь. Не однажды бродила я по весенним дорогам, повторяя завораживающие слова, еще не полностью доходящие и объяснимые.

Полузакрыв синие глаза, встряхивая нарочито есенинскими, золотистыми волосами, Холмин читал мне стихи из сборников «Сестра моя жизнь» и «Поверх барьеров». Мне казалось – бредит чужим удивительным бредом! И осталось с тех пор в памяти поразившее трагическое признание странника в ночи:

Не тот этот город и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!

Я тогда не смела сказать, что половины не понимаю, и как очарованная смотрела в рот Холмину. Но то, что звучали слова Бога, всеильного «бога деталей», всеильного «бога любви» – чутьем я поняла с тех пор.

Потом была первая поездка на юг, к моему первому морю. Холмин, провожая меня, сунул мне книжку пастернаковской прозы в виде лиловой шершавой удлиненной школьной тетради. Это было «Детство Люверс». Лежа на верхней полке, опять упорно искала ключи к необычному: как мужчина мог так проникнуть в тайный девичий мир?

Приехав в сочинский санаторий, я с этой удивительной книгой часто оставалась наедине.

Облака пастернаковской прозы
Как урок у меня на столе...

писалось тогда в глупых девичьих стихах. Я и сейчас не понимаю, как еще девчонкой могла так желать погрузиться в омут этого неимоверно сложного новаторства. Так и тянуло.

С юности увлекавшаяся Гумилевым, тогда я отнесла к Пастернаку покорившую меня строку: «Высокое косноязычье тебе даруется, поэт...» Потом я убедилась, что Борис Леонидович очень сердился, когда его упрекали за мнимую невозможность расшифровать труднейшие поэтические иероглифы, относя их к «косноязычью».

Не почувствовать тайной их ясности и связи мог либо поэтически глухой, либо взнузданный литературными традициями, которому не по силам отпереть своим ключом замкнутые на первый взгляд образы и метафоры. А не удалось отпереть – не взыщи и не пиши от бессилия клеветнических статей.

Меня, как и многих других, завораживала неоткрытая, еще недоступная мне тайна неведомого. Конечно, разгадке поэтических образов часто мешала неподготовленность, именно та же приверженность к литературным традициям, но отгадка уже висела в воздухе: весна – через узелок с бельем «у выписавшегося из больницы». Налепленные на весенние ветви огарки не обязательно было называть почками! И безгубый лист, вестовой осени, и свайная постройка сада, держащая небо пред собой... – все удивительно ясно!



Вид из окна комнаты Ивинской в Потаповском переулке

Да, это было и шаманство, и чудо, и, может быть, именно великому поэту даруемое «косноязычье». Понималось, что за закрытой дверью лично тобой будет открыто еще не познанное, пока еще скрытое от тебя. Руки еще робки и слабы, чтобы принять великие дары, но связь между Великим Дарителем и робко принимающим подарок – уже была.

В маленькой моей комнатке на Потаповском шла первая подготовка к восприятию прекрасных сложностей. Потом они распались на удивительно точные и простые откровения...

Бог неприкаянный

Возвращаюсь к знаменательному для меня сорок шестому году. На следующий день после встречи с богом в редакции я позднее обычного вернулась с заседания редколлегии в нашу общую красную комнату. Зинаида Николаевна Пиддубная, сидящая на своем секретарском стуле у входа, сказала:

– Здесь поклонник ваш приходил, посмотрите, что он вам принес.

На столе лежал сверток в газетной бумаге: пять небольших книжечек со стихами и переводами.

А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь встреч с ним и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: «Сегодня я занята». Но почти ежедневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.

– Хотите, я подарю вам эту площадь? Не хотите? – Я хотела.

Однажды он позвонил в редакцию и сказал:

– Вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например, соседей, что ли, мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером.

Пришлось дать ему телефон Ольги Николаевны Волковой, живущей в нашем подъезде этажом ниже. Раньше я никогда себе этого не позволяла.

И вот вечером раздавался стук по трубам водяного отопления – я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольга Николаевна.

Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. С лукавинкой, будто невзначай, он повторял: «Несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез...»

А сейчас он, оказалось, переживает заново давнюю историю, когда пришлось ему подрабатывать репетитором у некой мадемуазель В. Эта история запечатлена в «Охранной грамоте». Чем-то я напоминала ему его первую любимую.

Это ее всю «от гребенок до ног» он «знал назубок, как драму Шекспирову». Она ему отказала. И ее отказ заставил моего любимого воскликнуть, рыдая:

(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты...

О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

– Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь плакали обо мне. Но наша встреча не пройдет даром ни для вас, ни для меня.

Придя домой, я написала Б.Л. стихи:

Я ресницы едва разлепила
Полузрячей от первого дня,
А она уж – тебя не любила,
Разделяя тебя и меня...

Провода натянулись как струны,
И опять над тобою и мной
Как гроза пронеслась твоя юность
Над теряющей Бога страной...

Разговоры наши во время длинных прогулок через пол Москвы были сумбурны, и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было «выговариваться», и едва я успевала прийти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я сломя голову опять мчалась вниз, к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед.

Вскоре мне в «Новый мир» позвонил незнакомый женский голос, молодой и милый. Это звонила по поручению Бориса Леонидовича Люся Попова (Ольга Ильинична Святловская. – *И.Е.*). Вскоре она ко мне пришла домой. Миниатюрная белокурая куколка с лицом леонардовского ангела. Это была студентка актерского факультета Института театрального искусства, ставшая впоследствии художницей. Однажды после вечера в Политехническом музее она дождалась Пастернака у выхода и подошла к нему, чтобы познакомиться. Но так растерялась и так испугалась своей собственной смелости, что начала лепетать что-то совсем нечленораздельное. Б.Л. представил ей своего сына и с подбадривающей улыбкой (будто не она не может связать двух слов, а он) сказал: «Я устал и не сумею вам ни на что ответить, извините меня. Вот мой телефон, вы мне позвоните, мы встретимся и поговорим. Всего вам хорошего». И даже когда отошел, то обернулся и сказал: «Обязательно позвоните, лучше всего в среду...»

И вот впоследствии Люся рассказала историю своего звонка ко мне:

«Однажды я получила от Б.Л. открытку: приезжайте, писал он, мне очень нужно вас повидать.

Я приехала. У него было лицо именинника.

– Вы знаете, Люся, – сказал он, сияя, – я полюбил.

– Что же теперь будет с вашей жизнью, Борис Леонидович? – сказала я, представив себе лицо Зинаиды Николаевны.

– Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? – отвечал он. – А она такая очаровательная, она такая светлая, она такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце, это так хорошо, так хорошо. Не думал, что я еще узнаю такую радость. Она работает в «Новом мире». Я очень хочу, чтобы вы ей позвонили и повидались с ней.

– Конечно, мы познакомимся, – отвечала я сияющему Борису Леонидовичу.

И я позвонила в «Новый мир».

«Жизнь моя, ангел мой...»

Наступил сорок седьмой год. Четвертого января я получила записку:

«Еще раз от души всего лучшего. Пожалуйста мне издали (задумайте) поскорее справиться с пересмотром “Тамбета” и “Девятьсот пятого” и снова взяться за работу. Вы страшно славная, мне хочется, чтобы Вам было хорошо.

Б. Л.».

Первая записка Бориса Леонидовича – летящие над строкой журавли – первый раз они прилетели ко мне...

Но их крылья опажули холодком: интуитивно ждала я чего-то большего, каких-то более теплых слов. Подозрительно: братья за работу... Как отклонение от меня, запрещение меня?..

За новогодним столом со мной были дети, мама, Дмитрий Иванович (Д. И. Костко, отчим Ивинской. – И.Е.). И эта первая записка.

Между тем начались неурядицы в редакции. Отстаивая стихи возвращенного из лагеря Заболоцкого, я повела себя смелее, чем можно было от меня ожидать. Кроме того, у меня был ряд столкновений с замом Симонова, Кривицким, по поводу несостоявшейся «Литературной минутки», задуманной Симоновым рубрики журнала. Поэты-современники должны были вынуть из письменного стола написанные «в данный момент» стихи.

Б.Л. принес, помню, свое стихотворение «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле...»). Оно было написано после нашего с ним путешествия к Марии Вениаминовне Юдиной. Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской (она была литконсультантом «Нового мира») возмущались: Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал – и, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за «Зимнюю ночь». Тем не менее он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика вся распалась. Зато свеча из «Зимней ночи», умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода.

Мне пришлось пожаловаться Б.Л. на возникшие у меня в редакции трудности. Там поняли, что мои отношения с Б.Л. переросли рамки сотрудника редакции с приходящим туда писателем. Кривицкий с кривыми усмешечками позволял себе замечания такого характера: «Интересно, чем кончится эта ваша интрижка с Пастернаком?» Он пытался ухаживать за мной, что было нормой его отношения и к другим женщинам редакции.

Когда я взволнованно и, быть может, с некоторым преувеличением рассказала Б.Л. о своих неприятностях, он с возмущением сказал мне: «Вам надо немедленно оттуда уйти, заботу о Вас я возьму на себя».

Следующим днем он позвонил в редакцию и каким-то жалобным тоном проговорил: «Мне нужно немедленно сказать вам о двух очень важных вещах. Не могли бы вы сейчас подойти к Пушкину?»

Когда я пришла к памятнику, где мы обычно уже встречались, Б.Л. ходил там встревоженный.

И вдруг – каким-то совсем необычным тоном:

– Не смотрите на меня сейчас. Я кратко выражу вам свою просьбу: я хочу, чтобы вы мне говорили «ты», потому что «вы» – уже ложь.

– Я не могу вам говорить «ты», Борис Леонидович, – взмолилась я, – это для меня невозможно, это еще страшно...

– Нет, нет, нет, вы привыкнете, ну пока вы не называйте меня, ну давай я скажу тебе «ты»...

Я, смущенная, вернулась в редакцию... Чувствовала: что-то очень важное должно произойти еще сегодня... Именно сегодня!

Около девяти вечера на Потаповском раздался привычный стук в батарею...

– Я ведь не сказал второй вещи, тебе не сказал второй вещи, – взволнованно и глухо говорил Б.Л. – А ты не поинтересовалась, что я хотел сказать. Так вот первое – это было то, что мы должны быть на «ты», а второе – я люблю тебя, я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь. Завтра я в редакцию не приду, а подойду к твоему двору, ты спустишься ко мне, и мы пойдем побродим по Москве.

Я вернулась домой и со всеми мучениями, со всей искренностью и беспощадностью к себе самой написала Б.Л. письмо. Точнее, это было не письмо, а исповедь – целая школьная тетрадка.

Я писала, что первый мой муж Иван Васильевич Емельянов из-за меня повесился, что я вышла замуж за его соперника и врага Александра Виноградова. О Виноградове ходило много сплетен. Он казался обаятельным и широким человеком, но, однако, были люди, которые утверждали, что именно он написал на мою маму клеветнический донос, будто она в своей квартире «порочила вождя», и бедная мама три года провела в лагере. А я оставалась с ним (ведь у нас был сын, да и к Ире он относился как к родной), и только смерть его положила конец этому ужасу¹.

«Если Вы, – я писала все-таки на «вы», – были причиной слез, то я тоже была! И вот судите сами, что я могу ответить на ваше «люблю», на самое большое счастье в моей жизни...»

На следующий день я спустилась вниз; Б.Л. уже ожидал меня возле бездействующего фонтана нашего двора. Здесь вмешался смешной эпизод. Мама из любопытства вышла к лестничному окну и свесилась из него так низко, что когда я спустилась к Б.Л., тот был удивлен и встревожен: «Какая-то женщина чуть не выпала из окна».

Свидание наше было кратким: Б.Л. не терпелось познакомиться с моей тетрадкой.

Уже в половине двенадцатого ночи я снова спустилась на стук в нижнюю квартиру. Встретили меня кислые слова Ольги Николаевны: «Люсенька, я, конечно, зову вас, но ведь уже поздно и Михаил Владимирович лег спать».

Мне было очень неловко, но и сказать Б.Л., чтобы он так поздно не звонил, я не решалась. Голос его меня за все вознаградила: «Олюша, я люблю тебя; я сейчас вечерами стараюсь остаться один и все вижу, как ты сидишь в редакции, как там почему-то бегают мыши, как ты думаешь о своих детях. Ты прямо ножками прошла по моей судьбе. Это тетрадка всегда со мной будет, но ты мне ее должна сохранить, потому что я не могу ее оставлять дома, ее могут найти»².

Так мы перешли с Б.Л. за рубеж, после которого все нам казалось недостаточным и оставалось только одно: соединиться. Но на этом пути стояли преграды, казалось, непреодолимые.

Это был период бесконечных объяснений, блужданий по темным московским улицам и переулкам. Не раз мы уходили друг от друга, чтобы больше не встретиться, но не встречаться не могли.

Я жила вместе с мамой, ее мужем Дмитрием Ивановичем Костко и двумя детьми от разных отцов, которых давно уже не было на свете. У ребят моих из-за войны не было бы настоя-

¹ Только после его смерти я поехала за мамой, без билета, в солдатских теплушках, на страшную станцию Сухово-Безводное, отвезла ей донорский свой пак, и даже удалось мне вырвать ее оттуда. Дождалась активировки негодных и больных, тогда еще было такое и привезла полуживую нелегально в Москву. Много было страшного. Смерти, самоубийства.

² И я хранила эту тетрадь-исповедь. Два года спустя она оказалась в руках следователя МГБ.

щего детства, если бы Дмитрий Иванович по-отцовски о них не заботился. И все-таки сиротство дети ощущали, особенно старшая, Ирина.

Наступил день, когда перед моими детьми впервые предстал Борис Леонидович. Помню, как Ирочка, опираясь тоненькой ручонкой о стол, прочитала ему стихи. Неизвестно, когда она успела выучить такое трудное его стихотворение.

Борис Леонидович смахнул слезу и поцеловал Ирину. «Какие у нее удивительные глаза! Ирочка, посмотри на меня! Ты так и просишься ко мне в роман!»

Внешность Катеньки, дочери Лары из романа «Доктор Живаго», – это внешность моей дочери: «В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала».

Но Бориса Леонидовича стала душить жалость к семье и раздвоенность – как быть. Он все снова и снова повторял мне, что, входя в квартиру, где его ожидала стареющая женщина, он вдруг начинал видеть в ней Красную Шапочку, затерянную в лесу, и приготовленные слова о разрыве застревали у него в горле. Кстати, он убеждал меня, что я вовсе не виновата в его равнодушии к жене, даже страхе перед ней, ее железным характером и голосом. «Она из семьи жандармского полковника», – вздыхая, говорил Б. Л. Все это якобы началось задолго до знакомства со мною. Звучало все это достаточно несуразно. «Это судьба распорядилась так, – говорил он, – в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку – я любил на самом деле не ее, а Гаррику (так он называл ее первого мужа – Генриха Густавовича Нейгауза), чья игра очаровала меня.



Отчим Ольги Ивинской Д. И. Костко с детьми Ириной и Дмитрием

Ведь он хотел даже убить меня, чудак, когда Зина ушла от него! Но потом зато очень был благодарен!»

В этом весь Б. Л. Может, и в самом деле – поддался очарованию игры, и в этот момент блаженства почудилось ему, что вызвано такое состояние только большою любовью обязательно к женщине.

И вот разбиты две семьи, он с трудом ушел от своей первой жены, Евгении Владимировны, и маленького сына, соединился с З. Н. Нейгауз. Говорит, что скоро понял ошибку. И «в этом аду» живет уже более десяти лет. Все это рассказывалось мне с таким надрывом, что не поверить ему было просто невыносимо. А я еще и хотела верить!

Третьего апреля сорок седьмого года до двенадцати ночи объяснялись мы в моей комнате, переходя от восторгов к отчаянию.

Расставание было печальным: Б.Л. говорил, что он не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга, и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне всю жизнь он все равно будет.

Ночь была бессонной. Я поминутно выскакивала на балкон, прислушивалась к рассвету, смотрела, как гаснут фонари под молодыми тогда еще липами Потаповского переулка...

Это о них позже было написано:

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первую дрожью...

А в шесть часов утра – звонок. За дверь – Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу...

Мы молча обнялись...

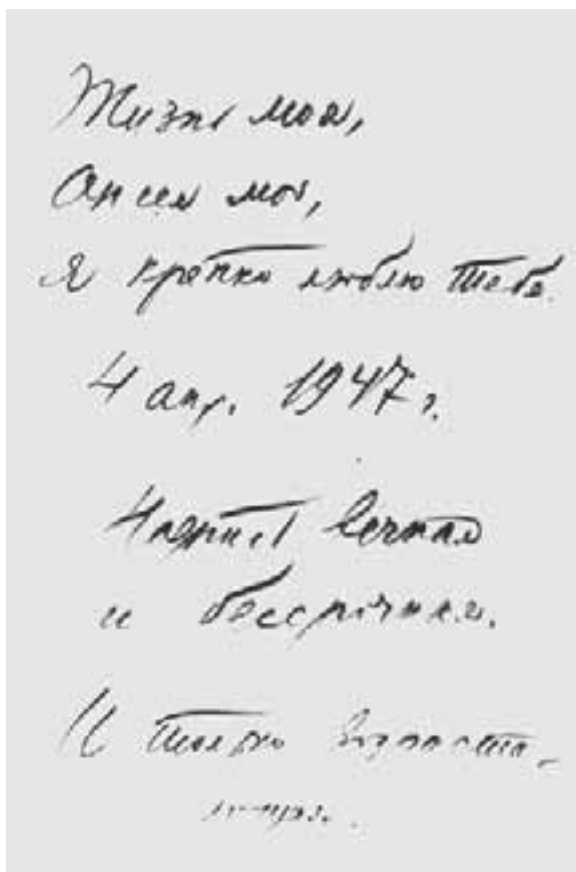
Была пятница четвертого апреля сорок седьмого года. Мама с мужем и детьми уехала на весь день в Покровское-Стрешнево.

И подобно тому, как у молодоженов бывает первая ночь, так у нас это был наш первый день. Я гладила его помятые брюки. Он был воодушевлен победой. Поистине: «Есть браки таинственнее мужа и жены».

Утром этого счастливого дня Б.Л. сделал надпись на красной книжечке своих стихов:

*«Жизнь моя, ангел мой,
я крепко люблю тебя.
4 апр. 1947 г.»*

Эта красная книжечка имеет свою историю. Во время моего первого ареста в сорок девятом году забрали все подаренные мне Борей книги. А когда следствие закончилось и «тройка» в образе молодого прыщавого лейтенанта вынесла мне приговор, Борю вызвали на Лубянку и отдали книги, принадлежащие мне; и он вырвал страницу с надписью. А другим утром, когда я вернулась из лагеря и мы снова были счастливы, и даже счастливее – я все-таки упрекнула Борю: как он мог? Теперь уже на оборотной стороне переплета его рукой было написано: «Я вырвал надпись, когда принес домой. Что тебе в ней?!»



Молча я прочитала это и ниже сделала свою надпись: «Нечего сказать, хорошо сделал: если бы не вырвал, эта книга была бы памятью о счастье – а теперь – о несчастье, о катастрофе. Да!»

Тогда Боря взял принесенный с собой снимок, на обороте его слово в слово повторил надпись сорок седьмого года, приписав под этой же датой слова: «Надпись вечная и бессрочная. И только возрастающая». Но это написано уже в пятьдесят третьем году.

«И манит страсть к разрывам»

Да, четвертое апреля сорок седьмого года! С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно.

Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади – и это увековечено в одном из стихотворений «Юрия Живаго»:

...Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.

Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.

В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный «недосып» на рассветах влюбленности нашей – и вот рождаются строчки о вековом недосыпе Чистопрудного бульвара. Б.Л. входит в мою комнату в шесть утра... Он, конечно, не выспался – а значит, не выспался и бульвар, и дома, и фонари.

Когда-то я заколола маминым черепаховым гребнем волосы вокруг головы, и родилась «женщина в шлеме», смотрящая в зеркало... «Я люблю эту голову вместе с косами всеми!»

Теперь нас, тех, прежних, давно уже нет, но и гребень мамин в моих тогда густых волосах, и недоспавшие липы вошли в стихи и живут от нас отдельно – от меня, от Б.Л., от маленькой комнатенки на Потаповском.

В наших днях «под током» вперемежку с трагическими нотами было все-таки много забавного.

Однажды, в самые первые дни, получив возможность после долгого хождения по холодным улицам посидеть в тепле в моей маленькой комнатке (это было, кажется, вторым его визитом в семью), Б.Л. рванулся ко мне на диван со стула. Диван был такой старый, что сейчас же рухнул – подломила ножка. Борис Леонидович с испугом отпрянул.

– Это рок! Сама судьба, – сказал он взволнованно, – указывает мне на мое недостойное поведение!

В другой раз, много позже, когда мы особенно часто объяснялись и ссорились, тоже произошел эпизод, до сих пор заставляющий меня улыбаться. Борису Леонидовичу очень хотелось как-то досадить мне в отместку за какую-то сцену накануне. Я же хотела мириться, наставила в комнате много васильков в различных вазах.

– Это синюхи, – сказал Б.Л. сердито. – И вообще – сорняки.

Потом оказалось, что он не любит букетов в комнате, хотя сам часто посылал их знакомым дамам.

Б.Л. ненавидел семейные сцены. Видимо, и за жизнь до меня вдосталь хлебнул их. Поэтому, когда я начинала какой-то более или менее серьезный разговор, он заранее настораживался. На мои справедливые упреки начинал гудеть:

– Нет, нет, Олюша! Это уже не мы с тобой! Это уже из плохого романа! Это уже не ты!

А я упрямо твердила:

– Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя!

Каждый оставался при своем.

Я считала Борю больше чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Так радовало меня его любовное, нежное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Иринке.



Ольга Ивинская, 1930-е годы

Мамино влияние на первых порах наших трагедий сказалось на Ирином отношении к Б. Л. Вначале она, глядя, как я то вешаю, то снимаю его портреты, поджимала губки и с презрением говорила: «Бессамолюбная ты, мама!..»

С ее взрослением все переменялось. «Я понимаю тебя, мама», – наконец сказала она, увидев, что я в очередной раз вешаю портрет Б.Л. обратно.

Кто-то из взрослых сказал детям: «Ребята, вы смотрите, каждая минута, проведенная с классиком, должна быть для вас дорога!» И вот из этого казенного и такого строгого термина «классик», уважительного и почтительного, в устах Иры вдруг появилось милое, ласковое слово «классюша»...

Классюша стал для нее самым близким человеком на свете, она очень чутко ощущала и милые его смешные слабости, и величие, и щедрость.

Но тогда дело было не в детях.

Я тоже часто бывала не на высоте и испортила много хороших минут. Накручивания близких не проходили для меня бесследно, и нет-нет да предьявляла я Боре какие-то свои на

него бабьи права. Больно и стыдно вспоминать глупые эти сцены. Вот что Боря писал мне, власть находившись по улицам и то ссорясь со мною в чужих парадных, то мирясь:

...Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

* * *

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.

Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током.
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.

Но, как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.

«Нет, нет, все кончено, Олюша, – твердил Б.Л. при одной из попыток разрыва, – конечно, я люблю тебя, но я должен уйти, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей. (З.Н. тоже в это время, узнав обо мне, начала устраивать ему сцены.) Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя».

Но мы, повторяю, были «провода под током» – разойтись было не в нашей власти.

Однажды тяжело заболел младший сын Б. Л. Леня. И З.Н. у постели больного сына вырвала у Б.Л. обещание больше не видеть меня. Тогда он попросил Люсю Попову сообщить мне об этом решении. Но она наотрез отказалась и сказала, что это он должен сделать сам.

Я, помню, больная лежала у Люси в доме в Фурмановом переулке. И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна. Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо. И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной, твердой женщиной, повторяющей мне, что ей наплевать на любовь нашу, что она не любит Б.Л., но семью разрушать не позволит³.

³ Эта единственная встреча двух любящих Пастернака женщин описана также и в воспоминаниях Зинаиды Николаевны: «Она [О.И.] уверяла меня, что она беременна, на что я ей ответила: „Вы должны быть счастливы иметь ребенка от человека, которого вы любите. На вашем месте я бы этим удовлетворилась»... А летом 1948 года мы с Борей получили письмо от М. К. Баранович. Она нам сообщила, что О.И. действительно родила девочку, которая умерла через 24 часа». – И.Е.

После моего возвращения из больницы Боря явился как ни в чем не бывало и трогательно мирился с мамой, объясняя ей, как он любит меня. Мама к таким переменам уже стала привыкать.

И еще одна попытка разрыва. Шел пятьдесят третий год. Близилось мое возвращение из лагеря. Как он тосковал обо мне, добивался моего освобождения, видно даже из трогательных открыток, написанных им в Потьму под именем мамы. Мне посчастливилось их оттуда вывезти.

Первый его инфаркт, можно считать, был вызван нашей разлукой: именем этой разлуки зазвучали лучшие стихи того периода:

С порога смотрит человек,
Не узнавая дома,
Ее отъезд был как побег,
Везде следы разгрома...

Ему снилось наше свидание как несбывающееся чудо:

Засыплет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги,
За дверь ты стоишь...

И вдруг, когда судьба готовила нам чудо реального свидания, ему в это время представилось, что я уже не я, а он уже не он, а З.Н. выходила его от инфаркта, и личную жизнь нужно оставить, подменяя ее преданностью и благодарностью. И вот Б.Л. вызвал на Чистопрудный бульвар пятнадцатилетнюю Иру и дал ей весьма странное поручение. Девочка должна была передать своей матери, когда та вернется после четырехлетнего заключения в лагере, его слова: он любил меня, все было прекрасно, но теперь отношения могут измениться.

Жаль, что Ира не вела тогда никаких записей. И потому не сохранилась вся непосредственность, наивная прелесть и вместе с тем несомненная жестокость его слов.

Я знала его боязнь перемен в близком человеке. Он упорно не хотел повидаться со своей сестрой Лидией, которую помнил молоденькой красивой девушкой. «Какой будет ужас, – как-то сказал он мне, – когда перед нами окажется страшная старуха и совершенно чужой нам человек». Я уверена, такой старушкой он ожидал после лагеря увидеть и меня. Отсюда его деликатное поручение Ире: мол, жизнь может и не сложиться по-прежнему.

И вдруг он увидел – я такая же. Ну похудевшая, может быть. Моя любовь и близость к Б.Л. всегда меня как-то удивительно воскрешали.

Словом, разорванная разлукой, наша жизнь вдруг преподнесла ему неожиданный подарок – и вот вновь превыше всего «живое чернокнижье» горячих рук и торжество двоих в мировой вакханалии.

Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе. А Ира о «поручении» на бульваре рассказала мне много лет спустя после смерти Б.Л...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.